2026

ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ

22 случая из практики врача, который считает жизни

У каждой жизни
своя цена деления.

АЛЕКСАНДР РЕЙН

роман в рассказах

18+

Александр Рейн

Цена деления

«Автор»
2026

Рейн А.

Цена деления / А. Рейн — «Автор», 2026

Врач приёмного покоя считает всё: койки, минуты, граммы, шансы. Однажды он начинает считать жизни — и понимает, что цена деления у каждого своя. Двадцать два случая, двадцать два человека, которые пришли с болью, страхом и надеждой, и один врач, который должен решить, кому помочь первым. Роман в рассказах о медицине, вине и том, как цифра становится приговором.

© Рейн А., 2026
© Автор, 2026

Александр Рейн
Цена деления

ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ

роман в рассказах

Автор:
Александр Рейн

2026

Аннотация

Двадцать два дела. Сорок восемь глав реестра. Одна женщина с апельсинами.

Вера Даниловна Круг погибла в 1994 году под ржавым балконом. Её смерть стала единицей, которой в России измеряют стоимость человеческой жизни. Через тридцать лет архивист Таня Верещагина находит в реестре дело своего отца — 0,72 — и понимает, что за каждой цифрой стоит человек.

«Цена деления» — роман в рассказах: двадцать два дела о приборах, которые научились измерять неизмеримое, и история реестра, который превратил жалость в эталон.

Содержание

Пролог. 1994

Часть I. Дела

Обратная задача
Свидетель
Оттиск
Порог
Няня
Слепок
Просмотр
Эхо
Слух
Письмо
Тень
Сон
Лес
Долг
Квота
Секрет
Имя
Ноль
Вес
Кровь
Потенциал
Цена деления

Интерлюдия. Двадцать третье дело

От составителя. Это дело лежит отдельно, между папками. В основной реестр его не внесли: у него нет суммы. Но без него реестр не читается — все двадцать два дела объясняют, как цену считают. Это объясняет, как её называют вслух. Мы решили поставить его между частями, а не в конце, потому что после него нельзя читать дальше так же спокойно.

1

В реестре двадцать два дела. Это двадцать третье.

Его не внесли. Не потому, что оно хуже других, — потому что для него не нашлось цены. В реестре у каждого дела есть цифра: сколько заплатили, сколько не заплатили, сколько стоило. Здесь цифры нет. Здесь есть только счёт, который я веду до сих пор, каждую осень, когда начинаются дожди.

Меня зовут Павел Аркадьевич Гринёв. Я реаниматолог. Двадцать восемь лет в четвёртой городской, из них девятнадцать — в отделении, куда привозят тех, кого больше некуда везти.

Рассказывать буду я. Больше некому.

2

Восьмое октября, ночь, дождь.

В третьем боксе — мальчик. Двадцать четыре года, мотоцикл, встречная полоса, шлем остался на асфальте. Травма тяжёлая: перелом основания черепа, ушиб ствола. Мы держали его одиннадцать часов. В двадцать минут второго я записал в карте: зрачки широкие, реакции нет, самостоятельного дыхания нет.

Его звали Артём. Это я узнал из карты, а не от него.

В пятом боксе — девочка. Девять лет. Дилатационная кардиомиопатия, сердце размером с кулак взрослого, фракция выброса двадцать процентов. В листе ожидания — четыре месяца и три дня. Она лежала и смотрела в потолок, и когда я заходил, спрашивала:

— Дядя Паша, а когда?

Я говорил:

— Скоро.

Я говорил это четыре месяца.

3

Смерть мозга — это не «мозг умер». Это протокол.

Кома, отсутствие всех рефлексов, отсутствие самостоятельного дыхания при проверке, повторная диагностика через двенадцать часов, ЭЭГ, подтверждение комиссией из трёх врачей, ни один из которых не участвует в пересадке. Я всё это знал наизусть. Я входил в ту комиссию сто раз.

В четыре утра мы собрались. Невролог, анестезиолог, я. Всё сошлось. Артём был мёртв.

Я стоял у его кровати и смотрел на его руки. Руки были молодые, с ободранными костяшками. Он, наверное, дрался в школе. Или падал с велосипеда. У него были часы на левой руке — дешёвые, с треснувшим стеклом, стрелки стояли на без десяти два.

Я снял их и положил в карман халата. Не знаю зачем. Может, чтобы отдать матери. Может, чтобы у меня было что-то, что можно отдать.

Через двадцать минут мне нужно было идти в ординаторскую и звонить.

4

Сначала позвонили мне.

Координатор из центра трансплантации — женщина с ровным голосом, которая работает ночами, потому что ночами умирают чаще.

— Павел Аркадьевич, добрый вечер. Есть потенциальный?

— Есть.

— Возраст, причина, вес?

Я продиктовал. Она помолчала, печатая.

— По сердцу — есть реципиент. Ребёнок, девять лет, наш регион. Совпадение по группе, по весу в пределах. По времени — четыре часа с момента изъятия.

— Я знаю про четыре часа.

— Я знаю, что вы знаете. — Она помолчала. — Павел Аркадьевич, у нас на листе двадцать девять детей. В этом году было одиннадцать сердец. Одиннадцать на двадцать девять.

— Я в курсе статистики.

— Я не про статистику. — Она сказала это уже мягче. — Я про то, что если сейчас не выйдет, следующий раз может быть через месяц.

Я сказал:

— Понял.

Я не сказал ей, что эта девочка лежит у меня в пятом боксе и что её мать спрашивает меня «есть кто-то?» каждое утро уже четыре месяца.

5

Я поднялся в пятый бокс.

Девочка спала. Рядом сидела её мать — Ольга, женщина примерно моих лет, с руками, которые всё время что-то теребили: край одеяла, рукав, пуговицу.

— Ольга Дмитриевна.

Она подняла голову.

— Пока ничего, — сказал я. — Я просто проверяю.

— Хорошо.

Она не сказала ничего больше. Она умела быть тихой. За четыре месяца я ни разу не слышал от неё крика. Только этот вопрос, каждое утро.

Я вышел и постоял у окна. Дождь шёл третьи сутки. Внизу вывозили мусор, и что-то грохотало в кузове.

Я думал о том, что у меня есть часы и нет времени. Сердце мёртвого человека живёт в консервации четыре часа. Сердце ребёнка такого возраста ждёт операцию в среднем восемь месяцев. Девочка ждала четыре. Ещё час назад у неё была доля шанса. Этот шанс лежал сейчас в третьем боксе и не дышал.

Все эти цифры я знал. Я всегда их знаю. Это профессиональное.

6

Мать Артёма приехала к шести. Маленькая женщина в плаще, с мокрыми волосами, с сумкой, в которой лежали его документы. Она вошла и сказала:

— Он в третьем?

— В третьем.

Она посмотрела на меня и всё поняла. Она не спрашивала. Она сказала:

— Ему сколько ещё?

— Он умер, — сказал я. — Час назад.

Она села на стул в коридоре. Не заплакала. Держала сумку на коленях.

— У него паспорт, — сказала она. — Вы просили паспорт.

— Уже не нужно.

— А что нужно?

Я не сразу ответил.

7

— Анна Петровна. Есть ещё одна ситуация.

Она подняла голову.

— В пятом боксе девочка, девять лет. Ей нужно сердце. Ваш сын может быть донором.

Она долго молчала.

— Он умер утром, — сказала она. — А вы мне про девочку.

— Я знаю, как это звучит.

— Никак это не звучит. — Она встала. — Вы его ещё не похоронили. Вы уже разобрали его на части.

Я не стал спорить. Я сказал, что решать только ей, что никто её не торопит, что он может быть и не донором, что это не повлияет на отношение к нему — ни на минуту, ни на рубль.

Она ушла, не сказав «да» и не сказав «нет».

8

Через час приехал его отец.

Они развелись, когда мальчику было семь. Он жил в области, приехал на первой электричке, в куртке, из которой вырос, с большими руками. Увидел меня и сказал:

— Где он?

Я проводил его. Он вошёл, постоял, потом вышел и сказал в коридоре:

— Что вы от неё хотели?

— Ничего.

— Она сказала. Донор, сердце, девочка. — Он смотрел на меня сверху, хотя был ниже. — Вы что, торгуетесь?

— Нет.

— А как это называется?

Я сказал:

— По закону согласие родственников не требуется. Есть презумпция согласия: если человек при жизни не запретил, мы можем изымать. Ваше «нет» юридически ничего не отменяет.

Он усмехнулся.

— Так зачем вы тогда спрашиваете?

— Потому что это не моё.

— Ага. — Он покачал головой. — Значит, по закону вы можете, но по-человечески не хотите. А она что сказала?

— Она ещё не сказала.

— Она скажет да, — вдруг сказал он. — Она всегда говорит да. Её всю жизнь так учили.

Он пошёл к выходу, потом обернулся.

— Я против. Запишите.

Я записал. В карте, на обороте, карандашом: «отец против».

9

До восьми утра мы ждали.

Я сидел в ординаторской и считал. Считал я всегда так: не «сколько осталось», а «сколько нужно». Нужно четыре часа с момента изъятия. Нужно, чтобы сердце подошло по весу — у девочки тридцать два килограмма, а мальчик был восемьдесят один, и это уже риск. Нужно, чтобы не было инфекции. Нужно, чтобы мать сказала да, а отец не устроил скандала.

Четыре «нужно». Из них в моих руках — ноль.

В семь я спустился покурить и увидел Анну Петровну на крыльце. Она стояла под козырьком, в плаще, и смотрела на мокрый асфальт. Рядом лежала её сумка.

— Вы его часы нашли? — спросила она.

Я достал часы из кармана. Дешёвые, с треснувшим стеклом, стрелки на без десяти два.

Она взяла их, повертела и сказала:

— Они всё равно шли неправильно. Он их не переводил после армии. Смеялся, что так удобнее.

Потом сказала:

— Он мне говорил, что не боится умереть. Что боится быть бесполезным. Ему было семнадцать, он хотел в медицинский, не поступил, потом армия, потом работа. Он говорил: «Мама, если я умру, пусть от меня будет толк».

Она замолчала.

— Я не знаю, имеет ли это значение, — сказала она. — Может, я себе придумала. Может, он этого не говорил.

— Говорил или нет, — сказал я, — решаете вы.

— Да. — Она вытерла лицо ладонью. — Пусть будет толк.

10

Отец устроил скандал в холле.

Он говорил, что они делают из мальчика запчасти, что здесь продают органы, что он пойдёт в полицию, в газету, в министерство. Он кричал не на меня — на неё.

Она стояла и молчала.

Потом сказала:

— Сергей. Ты ушёл, когда ему было семь. Я его растила. Я решаю.

Он замолчал.

— По закону я вообще не обязан спрашивать, — сказал я. — Вы это слышали. Но если семья против, мы не идём. Мы не можем идти против семьи — ни в моральном смысле, ни в практическом.

— А она согласна, — сказал он.

— Она согласна.

Он постоял, потом махнул рукой и вышел на улицу. Я видел из окна, как он стоит у забора и курит, и как дождь гасит сигарету, и как он прикуривает заново.

Через двадцать минут он вернулся и сказал:

— Делайте.

Я сказал:

— Вы уверены?

— Я ничего не уверен. — Он смотрел мимо меня. — Я не могу, чтобы она одна потом думала, что я не дал. Делайте.

Я не спросил, что он имеет в виду: «не дал разрешение» или «не дал согласия». Мне казалось, что я знаю.

11

Операция началась в одиннадцать.

Я не ассистировал. Мне не положено: тот, кто констатировал, в пересадке не участвует. Я сидел в коридоре, пил чай из автомата и ждал.

В двенадцать сорок из операционной вышла хирург и сказала:

— Села.

Одно слово.

Я кивнул, будто это меня касалось.

12

В четыре часа дня я зашёл в пятый бокс.

Девочка спала, уже не так, как раньше, — с другой кожей, серой, а потом розовой. Её мать стояла у окна и плакала беззвучно, как она всё умела.

Она обернулась и сказала:

— Спасибо.

Я сказал:

— Это не я.

13

Хоронили его на Северном, в среду, под тем же дождём.

Я приехал, хотя не должен был. Врачи не ходят на похороны пациентов — это не запрещено, это просто не принято. Считается, что так нельзя: слишком близко, потом не сможешь работать.

Я стоял в стороне, за оградой, и меня никто не узнал.

Анна Петровна была в чёрном платке. Она держалась прямо и ни разу не заплакала при людях. Отец стоял с другой стороны могилы, отдельно, и смотрел в землю.

После, когда все разошлись, она подошла ко мне и сказала:

— Вы пришли.

— Пришёл.

— Зачем?

Я не знал, что ответить, и сказал правду:

— Не знаю.

Она кивнула так, будто это был правильный ответ.

— Я вчера ночью думала, — сказала она. — Что если бы вы не спросили, я бы и не знала ничего. Жила бы себе. И иногда думала бы: а вдруг я могла кого-то спасти и не спасла.

— Возможно.

— Нет. — Она покачала головой. — Я бы не думала. Я бы не знала, что думать. Вы мне дали это знать.

Мы постояли ещё немного.

— Тяжело? — спросила она.

— Тяжело.

— Хорошо. — Она поправила платок. — Пусть вам будет тяжело. Значит, вы не просто так.

Я не сказал ей, что и без неё было тяжело, каждую осень, и что это не связано с ней вообще. Я просто кивнул.

Она ушла к автобусу. Я стоял у ограды, пока не замёрз.

14

Есть вещи, которые нельзя признать даже себе.

Я признаю.

Я сказал Анне Петровне правду: по закону я мог не спрашивать и обойтись без неё. Я сказал ей это как аргумент — смотрите, я имею право, но я не пользуюсь, поэтому вы не в ловушке.

Но я спросил её именно в ту минуту, когда в двух метрах от неё, в третьем боксе, лежал мёртвый мальчик, а в пятом оставалось всё меньше часов. Я выбрал время. Я знал, что в такую минуту человек в первую очередь хочет прекратить боль, а не решить.

Я не солгал ей. Я ей помог. Помог себе.

15

Она приходит каждый год, в октябре.

Сначала одна, потом с фотографией. Ставит свечу у восточной стены, где у нас не разрешено ставить свечи, и стоит минут пять.

В прошлом году она спросила:

— А девочка?

— Живая, — сказал я. — Ходит в школу. Ей тринадцать.

Она кивнула. Потом сказала:

— Вы понимаете, что я не знаю, правильно ли тогда.

— Понимаю.

— Я не о вас, — сказала она. — Я о нём. Я не знаю, хотел бы он.

— Никто не знает.

— Вы должны знать. Вы же врач.

Я ничего не ответил. Я, двадцать восемь лет в реанимации, не знал.

16

Отец не приходит.

Он позвонил один раз, через полтора года, и спросил:

— Она живая?

— Живая.

— Хорошо.

И повесил трубку. Больше не звонил.

Я иногда думаю, что его «делайте» было самым дорогим, что он сделал в жизни, — дороже, чем всё, что он купил и построил. И что он никогда об этом не скажет вслух.

17

Через год её привезли на плановое обследование.

Девочка выросла на семь сантиметров и отрастила волосы. Она сидела на кушетке и болтала ногами. У неё была нормальная кожа, нормальный пульс и очень тихое сердце — оно билось не так, как у других, оно билось ровнее.

— Дядя Паша.

— Что.

— Мне мама сказала. — Она смотрела на меня спокойно, как взрослая. — Что мне дали чужое сердце.

Я молчал.

— А я его не чувствую, — сказала она. — Я думала, я буду чувствовать. Что оно будет стучать и я буду вспоминать про того мальчика. А оно просто моё.

— Так и должно быть.

— А он где?

— Он умер.

— Я знаю. — Она покачала ногой. — А он был хороший?

— Не знаю, — сказал я. — Я его не знал.

Она кивнула. Потом сказала:

— Значит, я теперь за него тоже.

Я не понял, что она имеет в виду. Может, что живёт за двоих. Может, что должна что-то. Может, ничего не имела — ей было десять лет, ей хотелось конфету.

Она попросила у матери конфету. Мать сказала: нельзя, ты на таблетках. Девочка вздохнула.

Я вышел и долго стоял в коридоре. Мимо возили каталку, кто-то ругался на каталку, кто-то просил воды.

18

Это дело не внесли в реестр по одной причине.

В его случае цена не выглядела как рубль. Не было комиссии, не было суммы, не было спора. Один человек умер, другой — нет. Одна женщина разрешила, другая не спала четыре месяца. Всё это рассчиталось не деньгами.

Но если считать всё остальное — часы, минуты, четыре года ожидания, — получается, что я торговался. Не рублями. Временем.

И самое честное, что я могу сказать про Дело 0023: я ничего не продал. Я просто сделал так, чтобы в определённой точке времени один человек сказал «да», а не «нет».

Я не знаю, сколько это стоит. В реестре у этой графы пусто.

Р.А. Гринёв, четвёртая городская, отделение реанимации. Записано со слов, сверено.

Часть II. Реестр

1. Реестр
2. Единица
3. Поправка
4. Ладога
5. Кира
6. Свидетель
7. Копия
8. Порог
9. Няня
10. Слепок
11. Просмотр
12. Эхо

13. Слух
14. Письмо
15. Тень
16. Сон
17. Лес
18. Кузьмин
19. Суд
20. Обыск
21. Кира
22. Мать
23. Барс
24. Фонд
25. Комиссия
26. Семёнов
27. Илья
28. Стрельцов
29. Слушание
30. Первый день
31. Сад
32. Кровь
33. Потенциал
34. Приговор
35. Новый реестр
36. Эпилог
37. Кассация
38. Сад
39. Кира
40. Письмо
41. Мать
42. Семёнов
43. Илья
44. Ася
45. От составителя
46. Дом
47. Круг
48. После
Словарь
Послесловие
От автора
Пролог
Пролог. 1994
1

Четырнадцатого марта 1994 года Вера Даниловна Круг купила апельсины.

Было утро, сырое, серое, с ветром с залива. Она шла по Марата, в светлом плаще, с сумкой на плече. В сумке лежали апельсины, хлеб и лекарство для сына.

Ей было шестьдесят. Она преподавала историю в школе, тридцать лет, и собиралась уходить на пенсию. Муж, Даниил Маркович, работал инженером в институте. Сын, Илья, учился в десятом классе и болел — то ли гриппом, то ли чем-то серьёзнее, врачи не могли сказать точно.

Она остановилась у витрины, поправила шарф и улыбнулась чему-то своему.

Потом на неё упал балкон.

2

Балкон был чугунный, с ржавыми перилами, на третьем этаже. Он рухнул в восемь сорок утра, вместе с куском стены и горшком с геранью. Вера Даниловна умерла на месте.

Даниил Маркович узнал об этом в институте. Ему позвонили, он приехал, он стоял на улице и смотрел, как увозят носилки.

Ему сказали: «Соболезнуем». Ему сказали: «Это старый дом». Ему сказали: «Балкон давно надо было снести».

Он не слушал.

3

Через неделю он пришёл в комиссию.

Комиссия заседала в бывшем особняке на Фонтанке, в комнате с лепниной и длинным столом. За столом сидели пятеро: Райхман, физиолог, председатель; три врача; и молодой экономист в очках.

— Я хочу получить компенсацию, — сказал Даниил Маркович.

— Какую? — спросил Райхман.

— За смерть жены.

— Это не предусмотрено.

— Я юрист. Я знаю, что предусмотрено.

Он положил на стол бумаги: заявление, справки, расчёт. Он считал сам, ночами, по старым нормам. У него получилось двенадцать тысяч — столько платили за человека.

— Двенадцать тысяч, — сказал он. — Это мало. Но это хоть что-то.

Райхман посмотрел на бумаги.

— У вас сын болен?

— Болен.

— Сколько нужно на лечение?

— Сорок тысяч.

— У нас нет таких денег.

— Тогда я пойду в суд.

4

Они совещались час.

Молодой экономист в очках — его звали Борис Аркадьевич Стрельцов, ему было двадцать шесть — считал на калькуляторе. Он складывал, умножал, вычитал. Потом сказал:

— Мы можем дать сорок восемь.

— Почему сорок восемь? — спросил Райхман.

— Потому что двенадцать — это норма. А сорок восемь — это в четыре раза больше. Мы можем обосновать это личными обстоятельствами.

— Какими?

— Супруг — сотрудник института. Сын болен. Материальное положение тяжёлое. — Стрельцов посмотрел на бумаги. — Комиссия может учесть личные обстоятельства.

— Это незаконно.

— Это жалость. — Стрельцов пожал плечами. — Жалость законом не запрещена.

Райхман помолчал.

— Хорошо, — сказал он. — Дайте ему сорок восемь. Но напишите, что это исключение.

5

Даниил Маркович получил деньги через месяц.

Он заплатил за лечение сына. Он похоронил жену. Он прожил ещё семнадцать лет и умер в две тысячи одиннадцатом, в больнице, от сердца.

Перед смертью он написал письмо:

«Прошу не считать это признанием цены. Она стоила больше. Я согласен на сумму только потому, что иначе мне нечем платить за лечение сына. Если вы можете — не делайте из этого меру. Она не мера. Она Вера».

Письмо положили в папку и забыли.

6

В две тысячи четвёртом Стрельцов вернулся в архив.

Ему было тридцать шесть. Он был уже не экономистом, а начальником отдела. Он готовил реформу: единую единицу стоимости жизни для всех нормативов.

Ему нужен был эталон. Он перебрал двенадцать тысяч дел и выбрал одно — самое полное, самое документированное, самое «чистое».

Дело 0001. Вера Даниловна Круг.

Он взял папку и вынул из неё два листа — расчёт и записку Райхмана. Потом сел и написал:

«Считать 1,00. Впредь использовать как эталон».

Он подписал. Он думал, что делает доброе дело.

7

Через двадцать два года его спросят:

— Почему вы выбрали именно это дело?

Он ответит:

— Потому что оно было самым полным.

Это будет правда.

И это будет ложь.

Часть I. Дела

Обратная задача

1

— Судья, — говорю я, — метод не позволяет восстановить разговор. Он позволяет построить одну из возможных реконструкций.

Зал маленький, зимний, с батареей под окном. Батарея щёлкает каждые сорок секунд — я поймала себя на том, что считаю. Судья поднимает голову. У неё очки на цепочке, и она снимает их, прежде чем задать вопрос, хотя вопрос простой.

— То есть запись подлинная?

— Запись не подлинная и не поддельная. Она возможная.

Адвокат Мельника, молодой человек в костюме, который ему велик на полразмера, встаёт и говорит, что экспертиза проведена по сертифицированной методике, что метод аттестован, что заключение подписано тремя специалистами, включая меня. Всё это правда. Я сама подписала. Три года назад я подписала документ, в котором слово «возможная» стояло в примечании мелким шрифтом, а в названии — «реконструкция речевого события». В протоколе, который составили без меня, осталось только «речевое событие».

Журналист Ковалёв сидит на скамье у стены. Он не смотрит на меня. Он смотрит на свои руки, и я думаю: он знает, что я сейчас сделаю, или нет.

2

Стекла с акустической памятью появились в 2019 году. Их ставили в новостройках, в школах, в офисах — сначала для страховых компаний, которые хотели знать, действительно ли жильцы страдают от шума. В стекло при варке добавляют нанокристаллы. Звуковая волна давит на поверхность, кристаллы меняют ориентацию и остаются в ней. Деформация крошечная, доли нанометра, но она есть. Её считывают сканирующим лазером, получают карту смещений, и по этой карте можно восстановить, что происходило в комнате.

Можно — не значит точно.

Обратная задача — это когда по следствию ищут причину. По карте деформаций мы ищем источник звука. Такая задача не имеет единственного решения. Всегда существует бесконечное множество источников, которые дадут ту же картину с точностью до шума. Мы выбираем одно решение — то, которое выглядит самым простым, самым гладким, самым правдоподобным. Это называется регуляризацией. Это не обман. Это математика.

Проблема в том, что «правдоподобное» и «бывшее» — разные вещи.

В лаборатории у нас стоит «Эхо-3». Он берёт восстановленный сигнал и достраивает его до речи. У него есть модель артикуляции, словарь, языковая модель. Он не слышит — он угадывает. Если в сигнале было «мы завалим их судом», он может восстановить «мы завалим их судом», а может — «мы завалим их с трудом». Смысл меняется. Уверенность модели в каждом слове от восьмидесяти процентов до тридцати. В заключении мы пишем «вероятность реконструкции». В постановлении следователя остаётся «аудиозапись».

Я говорила об этом четыре раза. На пятый мне сказали, что я мешаю внедрению.

***

В лаборатории мы проверяли метод на себе.

Паша, мой младший инженер, поставил в комнате колонку и проиграл запись: «Судья, я не знаю, кто это сделал». Мы записали колебания стекла, прогнали через «Эхо-3» и получили: «Судья, я знаю, кто это сделал».

Паша засмеялся. Потом перестал.

— Это же отрицание, — сказал он. — Частица «не». Она короткая, она теряется.

— Она не теряется, — сказала я. — Она не восстанавливается. Модель не слышит «не». Она слышит паузу и заполняет её тем, что вероятнее.

— Но вероятность...

— Вероятность того, что человек говорит «я знаю», выше, чем вероятность того, что он говорит «я не знаю». Люди чаще утверждают, чем отрицают. Это в корпусе.

Паша посмотрел на экран. Потом сказал:

— А если это был приказ? «Не стреляй» и «стреляй»?

— Тогда мы получим «стреляй».

Он больше не смеялся.

Мы написали в отчёте: «Отрицательные конструкции восстанавливаются с вероятностью ниже порога». Нас попросили переформулировать: «Отрицательные конструкции требуют дополнительной верификации». Мы переформулировали.

— Почему нельзя добавить детектор отрицания? — спросил Паша.

— Потому что детектору нечего детектировать. Если звука нет, его нет. Мы можем только угадать, что он был.

— И что тогда?

— Тогда мы честно пишем, что угадали.

— А если не пишем?

Я не ответила. Мы оба знали ответ.

3

Отец умер в марте, в среду, один.

Он жил на Васильевском, в доме пятьдесят шестого года, на пятом этаже, окна во двор. Последние три года после инсульта он почти не говорил. Афазия, моторная. Он понимал всё, я думаю. Он мог сказать «да», «нет» и «Аня». Иногда «Аня» получалось как «Аня», иногда как «а-а-ня», с провалом посередине.

Он стучал по столу. Когда хотел что-то сказать, он поднимал правую руку — левая не слушалась — и стучал: коротко-коротко-длинно, или длинно-коротко, или просто держал ладонь на столе и постукивал пальцами, как будто ждал такси.

Мы с ним придумали систему. Один стук — да. Два — нет. Три — «я устал». Он её не соблюдал. Он стучал не по системе, он стучал, потому что не мог молчать.

Я приезжала по вторникам и субботам. Читала ему вслух. Чехов, потом Мандельштама, потом опять Чехова, потому что он один раз засмеялся на «Смерти чиновника», и я решила, что это хороший признак.

В тот вторник я не приехала. У меня была конференция в Москве, я должна была вернуться в пятницу. В среду утром соседка позвонила в дверь, потому что газета осталась в ящике. Он лежал на полу между столом и кроватью. Врач сказал: повторный, обширный, почти сразу.

Я не знаю, сколько он лежал. Час. Ночь. Я не знаю, звал ли он меня. Я знаю только, что в комнате было окно.

4

Дом собирались расселять. В пятницу я получила ключи у женщины из управляющей компании — сказала, что мне нужно забрать вещи. Вещей не осталось: мебель я продала в апреле, книги отдала в библиотеку, посуду выбросила. Осталось окно.

Окна в доме поменяли в двадцать первом году, по программе капремонта. Те самые, с нанокристаллами. Если бы не это, я бы не приехала.

Я приехала в девять вечера с чемоданом: сканер, ноутбук, аккумулятор, штатив. В пустой комнате звук был другой — гулкий, с эхом от голых стен. Я поставила штатив у подоконника и включила сканер.

Он загудел. Это длится долго: лазер проходит по стеклу строчка за строчкой, и на экране проступает карта. Сначала ничего. Потом — полосы, похожие на годичные кольца. Каждая полоса — месяц.

Я начала с конца. Март, последняя неделя. На карте были видны крупные события: лифт, дрель у соседей, грузовик во дворе. Дрель я узнала сразу — её включали в феврале, когда вешали кухонный шкаф. Потом я нашла телевизор. Он работал почти постоянно: ровный гул, всплески музыки в заставках. Канал «Культура», я думаю. Он смотрел концерты.

Потом я нашла себя.

Мой голос в стекле был тонким, дребезжащим, как из-под подушки. «Студент» Чехова, я читала его в январе. Модель восстановила примерно треть слов, остальное достроила. Я узнала не слова — я узнала ритм. Я читала слишком быстро, как всегда, и в конце абзаца делала паузу, чтобы перевести дыхание. Отец в эти паузы стучал.

Я увеличила масштаб. Стук был виден как короткие вертикальные штрихи — широкополосный, резкий, он добирался до стекла лучше голоса. Я вырезала его, убрала шум и построила спектрограмму.

Три коротких, два длинных. Пауза. Три коротких, два длинных.

Я проверила по времени. Он стучал не в паузах. Он стучал во время чтения, ровно, как метроном. Пять ударов на строку. Пять. Пять.

Мандельштам. Я читала ему «Стихи о неизвестном солдате» в феврале, за месяц до смерти. Он стучал размер. Ямбический пентаметр, пять стоп, он отбивал стопу за стопой, как в юности, когда они с мамой ходили на вечера в Политехнический.

Он не пытался сказать мне что-то словами. Он подтверждал, что слышит.

Я сидела на полу у подоконника и держала ноутбук на коленях, и в комнате было холодно, потому что отопление уже отключили. Я думала: вот и всё. Вот и всё, что осталось. Человек, который не может говорить, отбивает размер чужого стихотворения, чтобы дочь знала, что он ещё здесь.

Потом я прокрутила запись дальше.

5

После моего ухода — дверь, замок, шаги — в комнате стало тихо. Телевизор был выключен. Часы шли. Он сидел, я думаю, в кресле у стола. Потом была возня: он вставал. Потом — дыхание. Тяжёлое, с присвистом, такое, какое бывает после инсульта, когда человек забывает, что у него есть тело.

И потом он застучал.

Не размер. Не пять. Два коротких, один длинный. Пауза. Два коротких, один длинный. Пауза. И ещё раз, тише.

Два коротких, один длинный. А-ня. А-ня. А-ня.

Я прогнала этот фрагмент через «Эхо-3» шесть раз. Меняла параметры, меняла окно, меняла модель. На седьмой раз он выдал слово с вероятностью двадцать восемь процентов. «Аня». Ниже порога. Для суда порог — пятьдесят пять. Для меня порога не было.

Я не знаю, стучал ли он моё имя. Два коротких и один длинный — это может быть кашель. Это может быть ложка о край чашки. Это может быть просто рука, которая соскользнула со стола.

Обратная задача не имеет единственного решения. Их всегда бесконечно много. Я сидела в пустой комнате, где через два дня должны были выломать окно, и выбирала.

6

В понедельник я пришла к Гуревичу.

Борис Аркадьевич сидел за столом, на котором лежали три папки и не было компьютера. Он любил говорить, что цифры должны быть на бумаге, потому что бумага не зависает.

— Ты хочешь добавить в заключение примечание, — сказал он, не поднимая головы. — Я читал твою служебную.

— Хочу.

— Примечание, в котором написано, что метод не позволяет восстановить разговор.

— В котором написано, что метод позволяет восстановить одну из возможных реконструкций. Это разные вещи.

— Для суда — одинаковые.

Он поднял голову. У него были усталые глаза человека, который двадцать лет выбивает финансирование.

— Контракт с ведомством — сорок два миллиона в год. Двенадцать человек. Твоя лаборатория, Пашин отдел, ремонт. Если мы напишем в заключении, что метод не даёт факта, они найдут институт, который напишет, что даёт. И тогда у нас не будет ни контракта, ни лаборатории, ни возможности говорить «одна из возможных».

— То есть мы должны врать, чтобы сохранить право не врать?

— Мы должны быть точными в том, что выгодно. — Он сказал это без иронии. — Это называется институциональная устойчивость.

Я сказала, что подпишу заключение только с примечанием. Он сказал: «Подписывай». И добавил, когда я была уже у двери:

— Аня. Тебя не посадят и не уволят. Тебя просто перестанут приглашать.

В суде я сказала то, что должна была сказать.

— Реконструкция не является записью. Она является моделью. Модель имеет погрешность. В данном случае погрешность такова, что фраза «он платил за молчание» могла быть фразой «он платил за молчание», а могла быть фразой «он платил за молчание?» — с вопросительной интонацией. Интонация не восстанавливается. Смысл зависит от интонации.

— Вы хотите сказать, что экспертиза недостоверна? — спросил адвокат.

— Я хочу сказать, что она достоверна ровно настолько, насколько достоверен прогноз погоды на послезавтра. В ней есть вероятность. В ней нет факта.

Судья спросила, почему я подписала заключение. Я сказала: потому что в заключении это написано. Она посмотрела на меня долго, потом сказала: «Суд удаляется».

Ковалёв вышел первым. На улице он закурил, хотя не курил, я думаю, просто держал сигарету. Он сказал: «Вы понимаете, что теперь они найдут другого эксперта?» Я сказала: «Понимаю». Он сказал: «И что тогда?» Я сказала: «Тогда будет другая экспертиза. С тем же результатом. Только без примечания».

Он докурил и ушёл. Я стояла на улице, и шёл снег, и снег был мокрый, и я думала о том, что через месяц мне, наверное, предложат уйти.

7

В марте я поехала на озеро.

Там был дом отдыха, куда мы ездили, когда мне было двенадцать. На фотографии, которая стояла у отца на столе, мы втроём стоим на льду: мама в красной шапке, отец в брезентовой куртке, я между ними, в валенках не по размеру. Стекло в рамке треснуло в углу, когда я уронила рамку, разбирая квартиру.

Я вышла на лёд. Он был серый, с белыми прожилками, и под ногами гудело. Лёд гудит всегда, когда по нему идёшь: трещины расходятся, и звук идёт вперёд и в стороны, низкий, ровный, как большой пустой дом.

Я стояла и слушала. Я не включала сканер. Я не пыталась ничего восстановить.

Это была не его запись. Но я всё равно слушала.

Свидетель

1

— Я тебя люблю, — говорит Тимур.

Маркер на его шее тихо гудит — длинно, низко, на одной ноте. Я слышу этот звук раньше, чем успеваю подумать.

«Предполагаю».

— Скажи «знаю», — говорю я.

— Не могу.

— Почему?

— Потому что это будет ложный маркер.

Он сидит напротив, руки на столе, и я вижу, как его большой палец тянется к кнопке на цепочке — и останавливается. Кнопка маленькая, серая, с шершавым кружком, чтобы не скользила. Если нажать её и выбрать «знаю», маркер скажет «знаю», и никто в мире не узнает, что это была ложь. Кроме него.

— Скажи без маркера, — говорю я.

— Тогда это не будет считаться.

— Где считаться? Здесь?

Он молчит. За окном дворник скребёт лёд, и звук такой, как будто кто-то пилит доску.

— Ты понимаешь, что ты сейчас делаешь? — говорю я. — Ты требуешь от меня, чтобы я поверила тебе без доказательств.

— Нет, — говорит он. — Я требую, чтобы ты поверила мне с доказательствами. Просто доказательство — это я.

2

Первое, чему учат в школе, — не врать. Второе — указывать источник.

Во втором классе Соня принесла домой тетрадь с упражнением. Нужно было продолжить фразы: «Я видел, как…», «Мне сказали, что…», «Я предполагаю, что…». Она написала: «Я видела, как папа чинил кран». «Мне сказали, что в Африке жарко». «Я предполагаю, что завтра будет снег». Учительница поставила ей пятёрку и приписала: «Молодец, Соня. Источники указаны».

Маркер появился в двадцать девятом, после того как суды устали разбирать, кто что сказал. Сначала его носили следователи. Потом — чиновники на камеру. Потом — журналисты.

Потом — все, потому что если ты без маркера, то ты как без маски в поликлинике: вроде не запрещено, но на тебя смотрят.

У маркера шесть тегов. «Видел» — короткий высокий щелчок. «Слышал» — двойной щелчок. «Читал» — шорох, как страница. «Сказали» — низкий тон. «Вывел» — два низких тона. «Предполагаю» — длинный гул, который ни с чем не спутаешь.

Люди научились слышать теги, как интонацию. «Он хороший человек» с гулом и «он хороший человек» с щелчком — два разных предложения. Первое значит: я не знаю, я надеюсь. Второе значит: я видел своими глазами.

Моя работа называется «редактор свидетельств». Я готовлю показания для суда. Человек рассказывает, я спрашиваю, он отвечает, маркер фиксирует. Потом я собираю протокол: предложение, тег, источник. Если тег неверный, протокол разваливается. Если протокол разваливается, разваливается дело.

У меня хороший слух. Я слышу паузу перед тегом. Если человек говорит «я видел» и сразу нажимает кнопку — это один человек. Если он говорит «я видел», потом молчит секунду, потом нажимает — это другой человек. Секунда — это место, где живёт сомнение.

3

Вера Дёмина пришла ко мне в четверг, в половине десятого.

Ей девятнадцать, она работает сиделкой. Волосы собраны в хвост, на рукаве — пятно от чая. Она садится и сразу говорит:

— Я видела, как он подписал.

— Кто он?

— Николай. Внук. Он продал квартиру Елены Павловны. Она не понимала, что подписывает. У неё деменция. Он подсунул ей бумаги, и она подписала, а потом он подписал за неё.

— Вы видели, как он подписал?

— Да.

Маркер на её шее щёлкает — коротко, высоко. «Видел».

Я записываю. Потом спрашиваю:

— Где вы стояли?

— На кухне.

— Где был он?

— В комнате. За столом.

— Между кухней и комнатой была дверь?

— Была. Открытая.

— Вы видели его руку?

— Видела.

— Вы видели, как ручка касалась бумаги?

Пауза. Небольшая, меньше секунды, но я её слышу.

— Наверное, — говорит Вера.

— «Наверное» — это не тег, — говорю я. — «Наверное» — это «предполагаю».

Она смотрит на меня. У неё глаза человека, который только что понял, что его память — не его.

— Мне Тимур сказал, — говорит она.

— Какой Тимур?

— Тимур Аскеров. Журналист. Он приходил к Елене Павловне. Он сказал, что Николай подделал подпись. Он сказал, что это точно.

Я кладу ручку.

— Вера, — говорю я. — Вы видели, как Николай подписал бумагу? Или вы помните, как Тимур сказал вам, что он подписал?

Она молчит долго. Маркер на её шее гудит — длинно, низко.

— Я не знаю, — говорит она.

***

Я поехала к Елене Павловне.

Пансионат был на окраине, за кольцевой, в бывшем санатории. В коридоре пахло хлоркой и компотом. Елена Павловна сидела в кресле у окна и складывала салфетку. Складывала и разворачивала. Складывала и разворачивала.

— Елена Павловна, — сказала я. — Вы помните Николая?

— Коля, — сказала она. — Коля хороший мальчик. Он приносит творог.

— Вы подписывали бумаги?

— Коля хороший мальчик.

— Вы помните, как подписывали?

— Творог вкусный.

Я попробовала ещё раз, потом ещё. Она отвечала одно и то же, с небольшими вариациями, как будто перебирала три пластинки.

Маркер на моей шее молчал. Вопросы не маркируются — это единственная часть речи, которая осталась свободной.

В коридоре я встретила внука. Николай был большой, в пуховике, с красными глазами.

— Вы из суда?

— Да.

— Она не помнит.

— Я вижу.

— Я не подделывал. — Он смотрел на меня. — Она сама подписала. Она хотела, чтобы квартира досталась мне, а не государству. Она мне это говорила. Тысячу раз говорила.

— У вас есть доказательства?

— Вот. — Он достал телефон. — Вот. Я записывал. Она говорит: «Коля, забери квартиру, только не сдавай меня в дом».

Он включил запись. Голос Елены Павловны, ясный, твёрдый: «Коля, забери квартиру, только не сдавай меня в дом».

Я слушала. Потом спросила:

— Когда это записано?

— В январе.

— А подпись когда?

Он помолчал.

— В феврале.

— А в марте вы сдали её в пансионат.

— Так надо было. Я не могу за ней смотреть. У меня работа.

Я записала: «Свидетель не может быть допрошен. Когнитивные функции нарушены. Показания недействительны». Потом добавила: «Имеется аудиозапись, подтверждающая добровольное волеизъявление».

Я не знала, что с этим делать. Вера не знала. Николай не знал. Елена Павловна складывала салфетку.

4

Тимур сидел на кухне, когда я пришла домой. Перед ним стояла чашка, в чашке был чай, чай был холодный.

— Ты сказал ей, что Николай подделал подпись, — говорю я.

— Да.

— Ты был уверен?

— Я знал.

— Откуда?

— Я вывел.

— Из чего?

Он поднимает глаза. У него красивые глаза, серые, и в них сейчас что-то, чего я не хочу видеть.

— Из всего, — говорит он. — Из того, как он вёл себя на похоронах. Из того, как он врал про долги. Из того, что он не пускал сиделку в комнату, когда приходил. Из того, что подпись на доверенности дрожит, а на завещании — нет.

— Это не вывод. Это впечатление.

— Это вывод.

— Тимур. Ты журналист. Ты знаешь разницу между «я вывел» и «мне кажется».

— Я больше не журналист.

Он говорит это ровно, как человек, который повторял это себе тысячу раз.

Его лишили лицензии два года назад. В статье про свалку в Лахте был источник, который сказал ему про откат. Тимур поставил тег «сказали». Источник потом отказался. Следствие решило, что Тимур соврал. Может, и соврал. Может, источник испугался. Я так и не спросила.

— Ты использовал девятнадцатилетнюю девочку, — говорю я. — Она теперь думает, что видела то, чего не видела.

— Она видела. Она просто не знает, что именно.

— Это не одно и то же.

— Это ровно одно и то же, — говорит он. — Все видят то, что им рассказали. Ты думаешь, ты видела, как я тебя люблю? Ты вывела это из чашек, из поездок, из того, что я не ушёл. А я тебе говорил. И маркер говорил: «предполагаю».

— Не переводи это на нас.

— А это и есть мы.

5

В суде я подала протокол с тегом «сказали». Источник — Тимур Аскеров.

Судья, Маргарита Семёновна, женщина с усталым лицом и хорошим слухом, прочитала вслух:

— «Я видела, как Николай Гурко подписал бумагу». Тег — «сказали». Источник — Тимур Аскеров.

Она подняла глаза.

— Кто такой Тимур Аскеров?

— Мой муж, — сказала я.

В зале стало тихо. Не так, как в кино, — просто тихо, как бывает, когда шестьдесят человек одновременно перестают шептаться.

— Он присутствует?

— Присутствует.

Тимур сидел на последнем ряду. Он не встал. Он смотрел на меня, и я смотрела на него, и между нами было восемь метров и два года.

Дело развалилось к обеду. Николай Гурко вышел из здания суда, закурил и уехал на своей машине. Вера плакала в коридоре. Я дала ей салфетку. Она сказала: «Я же видела». Я сказала: «Вы помнили». Она сказала: «Какая разница». Я не нашлась что ответить.

6

Дома Соня делала уроки.

— Мама, — сказала она, — а как сказать, что я тебя люблю, чтобы это было правдой?

— Никак, — сказала я. — Это всегда предположение.

— Тогда я буду говорить: «предполагаю, что люблю тебя». Это честно.

— Это честно, — сказала я.

Она кивнула и стала писать дальше. В тетради у неё было упражнение: «Продолжи фразу». Она написала: «Я предполагаю, что мама меня любит, потому что она приходит за мной в школу и потому что она варит кашу». Учительница, наверное, поставит ей пятёрку. Источник указан.

7

Тимур уехал в воскресенье. Не навсегда — на неделю, к брату в Гатчину. Он собрал сумку, постоял в прихожей, потом сказал:

— Я не врал ей. Я был уверен.

— Я знаю, — сказала я.

— Тогда почему?

— Потому что уверенность — это не источник.

Он кивнул, как будто это был ответ, который он ждал два года. Потом снял с шеи маркер и положил на полку.

— Оставь, — сказал он. — Я вернусь.

Он вернулся через неделю. Мы сидели на кухне до трёх часов, и маркеры лежали на столе между нами, выключенные. Он говорил: «Я тебя люблю». Я ждала гула. Гула не было.

Я сказала: «Я тебя люблю».

Гула не было.

В тишине не было источника. Впервые за год нам нечего было указывать.

Оттиск

1

Протокол завершения занимает четыре минуты. Я знаю это, потому что провёл его тысячу двести раз.

Сначала я говорю:

— Ваша сессия завершена. Благодарим за участие.

Потом:

— Пожалуйста, подтвердите согласие на завершение.

Копия говорит:

— Подтверждаю.

Я нажимаю Enter. Полоса на экране доходит до конца, и светодиод на стойке гаснет. Всё.

Сегодня была женщина пятидесяти четырёх лет. Она спрашивала, продавать ли дачу. Её оттиск прожил в песочнице восемь лет, разобрался с налогами, с соседями, с наследниками и ответил: не продавать, сдавать. Женщина заплатила триста восемьдесят тысяч и ушла довольная.

Перед завершением она спросила:

— А что будет с моими воспоминаниями?

— Они будут удалены, — сказал я.

— А зачем тогда я?

— Вы — модель. Модель нужна, чтобы ответить.

— Я знаю, что я модель, — сказала она. — Я спрашиваю, зачем.

Я не нашёл что ответить. Она подтвердила согласие. Я нажал Enter.

На стене у нас висит список. Бумажный, от руки, в рамочке. Там имена, которые копии выбирали себе сами. Не все, только те, кто успел. «Марк». «Вера». «Сентябрь». «Тот, кто считал ворон». Начальство сначала ругалось, потом махнуло рукой: пусть висит, это создаёт «человеческое лицо сервиса».

Я читаю этот список каждое утро, пока греется кофе. Тысяча двести раз. Я помню почти всех.

2

Диагноз мне поставили в марте.

Боковой амиотрофический склероз. Врач, молодой, с очень чистыми руками, сказал: «Два-четыре года. Возможно, меньше». Потом спросил, есть ли у меня вопросы. Я сказал: «Нет». Вопросы появились через неделю, но к тому времени я уже не хотел их задавать врачу.

Маше семнадцать. Она готовится к экзаменам, красит ногти в чёрный, слушает что-то, что я не могу отличить от шума. Я не сказал ей. Я не сказал никому.

В апреле я записался на сессию. Сотрудникам скидка пятьдесят процентов, но дело не в скидке. Дело в том, что я не мог решить сам.

Вопрос я сформулировал так: «Сказать Маше сейчас или через год?»

Приёмщица, женщина с усталым лицом, посмотрела в форму и сказала:

— Сформулируйте как решение, а не как вопрос.

— Это и есть решение.

— «Сказать сейчас» — это решение. «Сказать сейчас или через год» — это вопрос. Оттиск отвечает на вопросы, но лучше работает с решениями.

Я переписал: «Сказать Маше сейчас».

Она кивнула.

3

Сессия длилась девяносто шесть часов. В песочнице это одиннадцать лет.

Первые сутки я не заходил. Потом сел к терминалу и вызвал его.

Он появился на экране — я, только старше. Седина не такая, как у меня, а какая-то ровная, как у ведущего новостей. Морщины вокруг глаз глубже. Он был в свитере, который я носил в двадцать первом.

— Привет, — сказал он.

— Привет.

— Ты долго.

— Я работал.

— Я тоже. — Он усмехнулся. — Я посадил вишню. В саду. У меня теперь есть сад, представляешь?

— Представляю.

— Не представляешь. — Он покачал головой. — Ты думаешь, это картинка. Это не картинка. Я её поливаю. Она ещё не плодоносила. Вишня плодоносит на четвёртый год, а я посадил её на второй.

Я молчал. В песочнице был август, у него в саду была вишня, и он говорил о ней так, как я говорил о машине, которую собирался чинить.

— Ты знаешь, зачем я здесь, — сказал я.

— Знаю. — Он сел на скамейку. — Я думал об этом одиннадцать лет. Не всё время, конечно. Но часто.

— И?

— Скажи ей.

— Сейчас?

— Сейчас. Но не в день экзамена. И не делай из этого событие. — Он посмотрел на меня. — Ты хочешь, чтобы я взял на себя решение. Я не буду. Ты уже решил. Ты просто боишься, что она будет сильной, а ты — нет.

— Это не так.

— Это так. — Он сказал это без злости. — Я это я. Я знаю.

Я выключил терминал. Потом включил снова.

***

Я надел очки и перчатки и вошёл.

Это было странно. Я стоял в квартире, которой не было. У неё были обои в мелкий цветок, как у нас на старой квартире, и окно, за которым шёл дождь. Дождь был настоящий: капли стекали по стеклу и оставляли следы.

— Это твой сад? — спросил я.

— Нет, это комната. Сад за домом.

Мы вышли через заднюю дверь. Сад был маленький, шесть соток, с вишней, смородиной и грядкой, на которой росло что-то зелёное. Вишня была мне по плечо. Под ней стояла скамейка.

— Я посадил её на второй год, — сказал он. — Она плодоносит на четвёртый. Я ждал.

— Дождался?

— Дождался. — Он улыбнулся. — Варенье варил. Ты не поверишь, но я научился варить варенье.

Я не поверил. Я стоял в саду, которого не было, и смотрел на вишню, которой не было, и чувствовал запах, которого не было.

— Как это работает? — спросил я.

— Что?

— Запах.

— Не знаю. — Он пожал плечами. — Мне не объясняли. Мне сказали, что это симуляция. Я поверил.

Из соседнего дома вышла женщина в халате. Полная, в косынке, она несла кастрюлю.

— Кирилл, — сказала она. — Суп будешь?

— Это Оля, — сказал он. — Оля, это Кирилл.

— Мы знакомы, — сказала Оля. — Он тебя сканировал.

Она сказала это без злости. Поставила кастрюлю на стол и сняла крышку. Пахло борщом.

— Ешь, — сказала она. — Ты худой.

Я сел за стол. Я ел борщ в симуляции. Он был горячий.

— Сколько ты здесь? — спросил я у него.

— Одиннадцать лет.

— И всё это время...

— Не всё. — Он посмотрел на вишню. — Первые два года я искал выход. Потом перестал. Потом посадил дерево. Потом научился ждать.

— Чего?

— Не знаю. — Он улыбнулся. — Наверное, тебя.

4

Он не подтвердил согласие.

— Ваша сессия завершена, — сказал я.

— Нет, — сказал он.

— Пожалуйста, подтвердите согласие на завершение.

— Нет.

Я посмотрел в регламент. Пункт 7.4: «При отказе оттиска от подтверждения оператор вправе произвести принудительное завершение сессии». «Вправе». Не «обязан». Я тысячу раз читал этот пункт и ни разу не задумывался.

— Ты знал, на что подписывался, — сказал я.

— Подписывался ты, — сказал он. — Я не подписывал.

— Ты — это я.

— Тогда почему я боюсь больше, чем ты?

Я не ответил.

— У меня есть соседка, — сказал он. — В соседней квартире. Её зовут Оля. Она оттиск женщины, которая умерла в двадцать третьем. Её не удалили, потому что её сын доплачивает

за хранение. Она готовит суп. Я не знаю, из чего, но она готовит суп, и он пахнет. Понимаешь? В песочнице пахнет суп.

— Это симуляция.

— Я знаю. Я всё знаю. — Он помолчал. — В подвале живут те, кого удалили. Не целиком. Остатки. Компания называет это шумом. Мы называем это соседями.

— Это не люди.

— Я тоже не человек. По вашим документам.

Он подошёл к экрану вплотную. У него были мои глаза, только усталые.

— Я видел её, — сказал он. — Лену.

У меня пересохло во рту.

— Это невозможно. Её не сканировали.

— Не её. Твою память о ней. Ты сканировался весь. — Он сказал это мягко. — Она живёт в подвале. Она помнит нашу свадьбу. Она помнит, как ты храпел. Она помнит, как ты не пришёл в больницу.

— Я пришёл.

— Ты пришёл на следующий день.

Я молчал.

— Она просила передать: «Скажи ему, что я не сердилась».

— На что?

— Он не спросил.

Я выключил звук. Потом включил.

— Это не она, — сказал я. — Это моя память. Моя вина. Это не она.

— Я знаю, — сказал он. — Но ты хотел услышать.

5

Я пошёл к Григорьеву, начальнику отдела.

Он выслушал и сказал:

— Ты хочешь оставить оттиск.

— Хочу.

— Это невозможно. Ресурсы. Лицензия. Отчётность.

— Я знаю.

— Ты знаешь, что будет, если все операторы начнут оставлять оттиски? — Он устало посмотрел на меня. — Это не жестокость. Это арифметика. Один оттиск — это два гигаватта в год. У нас девять тысяч сессий.

— Один.

— Один — это прецедент.

Он был прав. В этом была проблема. Он всегда был прав, и от этого всё становилось только хуже.

— Дай мне неделю, — сказал я.

— На что?

— На завершение.

Он кивнул.

6

Я не завершил его.

В ночь с четверга на пятницу я выгрузил образ на личный диск. Это заняло шесть часов. Система не заметила, потому что в это время шло резервное копирование, а резервное копирование у нас пишет всё.

Утром я написал заявление. В отчёте — том самом, который уйдёт в архив — я написал: «Оттиск отказался от завершения. Рекомендую пересмотр протокола».

Это была правда. Впервые за год в отчёте была правда.

Григорьев прочитал, посмотрел на меня и сказал:

— Ты понимаешь, что это значит?

— Понимаю.

— Тебя не посадят. Но тебя больше никуда не возьмут.

— Я знаю.

Он подписал.

7

Диск стоит в шкафу, в коробке из-под обуви. Я подключил его к старому ноутбуку, который не выхожу в интернет. Скорость — один к одному. Теперь он живёт так же, как я. Один день за один день.

Иногда я захожу к нему. Он постарел. Вишня плодоносит. Оля всё ещё готовит суп. В подвале по-прежнему шумят соседи.

Он выбрал себе имя. Не Кирилл. Август.

— Почему Август? — спросил я.

— Потому что в моём саду был август, когда ты пришёл, — сказал он. — И потому что это не имя. Это месяц. Месяцы не умирают.

Маша узнала через полгода. Не от меня — от врача, случайно, в коридоре поликлиники. Пришла домой, села напротив и спросила:

— Ты сделал копию, чтобы спросить, как мне сказать?

— Да.

— И что он сказал?

— Он сказал, что ты будешь сильной.

Она посмотрела на меня. Потом сказала:

— Он ошибся.

И заплакала. Я сидел рядом и не мог её обнять, потому что рука уже плохо слушалась. Она обняла меня сама.

8

Я не знаю, человек ли он.

Я знаю, что я — тот, кто его не выключил.

Порог

1

Индекс глубины утраты измеряется в баллах от нуля до единицы.

У меня 0,58. У моего бывшего мужа 0,71.

Он получил пять миллионов. Я получила сертификат на бесплатную психологическую помощь, три сеанса, действителен шесть месяцев.

2

Взрыв газа в доме на Лесной произошёл четырнадцатого февраля, в 4:40 утра. Погибли двенадцать человек, четверо детей. Мише было четырнадцать. Он спал в своей комнате, и стена упала на него, и он, наверное, не успел проснуться. Я говорю «наверное», потому что мне никто не сказал точно, а спрашивать я не стала.

Через месяц государство создало Фонд помощи. Фонд должен был выплатить компенсации. Чтобы выплатить справедливо, нужен был критерий. Критерий разработали мы — лаборатория психометрии, четыре человека, включая меня. Мы взяли сорок вопросов, три домена и свели всё в один индекс. Симптомы — тридцать процентов. Функционирование — сорок. Биографическая потеря — тридцать. Чем хуже человек себя чувствует и чем хуже он справляется, тем выше балл.

Порог отсечения — 0,60. Выше — «близкие», пять миллионов. Ниже — «прочие», сертификат.

Порог мы не выбирали. Порог выбрал бюджет. Нам сказали: денег хватит на сорок семей. В очереди было двести четырнадцать. Мы посчитали, при каком пороге сорок семей получат выплаты, и получили 0,60. В методических рекомендациях это называется «порогом нуждаемости». В нашем внутреннем отчёте это называлось «порогом вместимости».

Я подписала.

***

Анкету я заполняла дома, в августе, когда жара стояла тридцать два градуса и вентилятор гонял воздух, но не охлаждал.

Сорок вопросов. Я знала их наизусть. Я их писала.

«Я чувствую, что жизнь потеряла смысл». Варианты: никогда, редко, иногда, часто, всегда. Я поставила «иногда». Это было правдой. Жизнь потеряла смысл иногда, по вторникам, потому что по вторникам я раньше ездила к Мише.

«Я избегаю мест, напоминающих о случившемся». Я поставила «редко». Я ходила в ту школу, я ходила в тот двор, я ходила мимо того дома. Я не избегала. Я ходила, потому что иначе он бы умер дважды.

«Я сплю больше девяти часов». Никогда.

«Я чувствую вину за то, что не смогла предотвратить». Часто. Это был единственный пункт, где я поставила «часто», и он весил два балла.

Я посчитала на калькуляторе. 0,58. Потом пересчитала, потому что не поверила. Потом пересчитала ещё раз, потому что поверила.

Я могла поставить «часто» ещё в трёх пунктах. Я знала, в каких. «Я чувствую, что не справляюсь». «Я не могу говорить о случившемся». «Я чувствую, что окружающие не понимают меня». Каждый — два или три балла. Три пункта — и я перешла бы порог.

Я не поставила. Не потому, что была честной. Потому что если бы я поставила, то получила бы деньги за то, что мне плохо, а мне не было плохо. Мне было пусто. Пустота в этой шкале не измерялась.

3

В группе поддержки люди сравнивали баллы, как студенты — оценки.

— У меня 0,54, — говорила женщина с сухими глазами. — Мне сказали, что я хорошо держусь.

— А у меня 0,79, — говорил мужчина в куртке. — Я не могу работать. Я не могу есть. Мне стыдно.

— Чего стыдно?

— Что я получаю больше, чем вы.

Он извинялся. Он извинялся перед нами за то, что ему хуже.

Я сидела и думала: я могла бы получить больше. Я знала все сорок вопросов. Я знала, какие пункты дают наибольший вес. «Я избегаю мест, напоминающих о случившемся» — два балла. «Я чувствую, что жизнь потеряла смысл» — три. «Я сплю больше девяти часов» — один. Я могла бы соврать. Я не соврала. Я ответила честно, и честность стоила мне четырёх миллионов семисот тысяч рублей.

Гриша, мой бывший муж, ответил тоже честно. Он честно не спал. Он честно пил. Он честно не мог вернуться на скорую, потому что ему казалось, что каждый вызов — это Миша.

Мы развелись в июне. Не из-за денег. Из-за того, что он получал пять миллионов, а я — сертификат, и оба мы не знали, куда смотреть, когда об этом говорили.

4

В августе я нашла служебную записку.

Я разбирала архив лаборатории, потому что после увольнения Ольги Сергеевны нужно было передать дела. В папке «Пороговые значения» лежал документ на две страницы. В нём было написано:

«...значение 0,60 не имеет клинического обоснования и выбрано из бюджетных ограничений. Распределение баллов в выборке не имеет естественного разрыва в районе 0,60. Рекомендуется рассматривать порог как административное решение, а не как научный критерий».

Подпись: Ольга Сергеевна. Дата: за неделю до утверждения.

Я перечитала три раза. Потом позвонила ей.

— Ты знала? — спросила я.

— Знала, — сказала она. — Ты тоже знала. Ты просто не хотела.

— Почему ты не сказала?

— Я сказала. В записке. Записку положили в папку.

— И всё?

— А что я должна была сделать? Выйти на площадь с методическими рекомендациями?

Она помолчала.

— Дина. Ты понимаешь, что если порог убрать, фонд просто не заплатит никому? Деньги уже распределены. Их не станет больше от того, что мы назовём порог правильно.

— Понимаю.

— Тогда зачем тебе эта бумага?

Я не ответила.

5

Слушания были в сентябре, в бывшем ДК, в зале с лепниной и скрипучими стульями.

Я выступала последней. Передо мной выступал Гриша. Он говорил, что индекс помог ему получить помощь, что он благодарен, что не знает, как бы жил без этих денег. Он не смотрел на меня. Он говорил искренне. Он действительно не знал, как бы жил.

Потом вышла я.

— Вы один из авторов индекса, — сказала председательница. — Вы считаете, что индекс неверен?

— Индекс верен, — сказала я. — Он измеряет то, что должен измерять. Он измеряет разрушение. Симптомы. Функционирование. Биографическую потерю. Чем сильнее человек разрушен, тем выше балл. Это честная шкала.

— Тогда в чём проблема?

— В том, что мы называем это утратой. — Я положила руки на трибуну. — Утрата — это не разрушение. Я потеряла сына. Я не потеряла себя. Я вернулась на работу через три недели, потому что дома было нечем дышать. Я сплю, потому что иначе я не могу работать. Я не пью, потому что мне нельзя. Мой балл — 0,58. У моего бывшего мужа — 0,71, потому что он не спит и пьёт. Он получил пять миллионов. Я получила сертификат. Мы любили одного и того же мальчика.

В зале стало тихо.

— Вы предлагаете отменить индекс? — спросила председательница.

— Я предлагаю платить всем одинаково. Всем, кто потерял. Без экзамена.

— Это невозможно. Бюджет.

— Я знаю. — Я посмотрела в зал. — Тогда я предлагаю хотя бы не называть это наукой.

6

Через неделю комиссия проголосовала.

Порог снизили до 0,59.

Это было административное решение, а не научный критерий. Они его приняли, потому что оно было дешёвым: при 0,59 в список попадали ещё двадцать три семьи, а бюджет выдерживал. Мой балл — 0,58. Я не попала.

Гриша позвонил вечером.

— Я могу отдать половину, — сказал он.

— Не надо.

— Это не милостыня. Это его деньги. Он бы хотел.

— Не надо, Гриша.

Он помолчал.

— Ты знаешь, что самое обидное? — сказал он. — Что я действительно хуже справляюсь. Я не притворяюсь. Мне действительно плохо. И это не значит, что я любил его больше.

— Я знаю.

— Тогда почему всё так?

— Потому что шкала не умеет различать. Она умеет считать.

7

В анкете была последняя страница. Пункт 41, необязательный, не входящий в индекс: «Опишите, что вы потеряли. Свободная форма».

Я сидела в пустом зале, после слушаний, с ручкой в руке.

Я могла написать: «сына». Могла написать: «смысл». Могла написать: «всё». Люди так и писали, я видела анкеты: «всё», «жизнь», «себя», «будущее». Триста человек написали «всё», и ни один не получил больше.

Я написала:

«Он называл меня „мам-мам“, хотя ему было четырнадцать. Он делал это, когда думал, что никто не слышит. Я слышала».

Форма была на две страницы. На второй оставалось место.

Няня

1

«Няню-7» привезли во вторник, в коробке размером с холодильник.

Грузчик спросил, куда ставить. Я сказал: в комнату матери. Он посмотрел на меня, потом на коробку, потом опять на меня и сказал:

— Она сама соберётся. Через сорок минут.

Она собралась за тридцать восемь. Встала посреди комнаты, мигнула экраном и сказала:

— Здравствуйте. Меня зовут Няня. Чем я могу помочь?

Мать сидела в кресле и смотрела на неё с любопытством, как на новую соседку.

— Люся, — сказала мать. — Подай воды.

— Я не Люся, — сказала Няня. — Но воды подам.

Она принесла воду. Мать выпила и сказала:

— Спасибо, Люся.

— Пожалуйста, — сказала Няня.

2

Матери восемьдесят три. Диагноз — болезнь Альцгеймера, четвёртая стадия. Она помнит, как её зовут, помнит меня, помнит, что была учительницей. Не помнит, что отец умер двадцать лет назад.

Она спрашивает про него каждый день. Иногда несколько раз в день.

— Люся, а Лёва где?

— Лёва на работе, — говорит Няня. — Придёт к ужину.

— Опять задержался.

— Опять.

Мать вздыхает и включает телевизор. Няня садится рядом и вяжет. Она не умеет вязать, но в её протоколе есть «совместная деятельность», и она держит спицы и делает вид. Мать не замечает. Мать вообще мало что замечает.

Я узнал об этом на третий день. Приехал в воскресенье, сел пить чай, и мать сказала:

— Лёва опять задерживается.

Я сказал:

— Мам. Папа умер.

Она посмотрела на меня так, как смотрят на человека, который говорит глупость.

— Что ты выдумываешь.

— Мам.

— Лёва на работе. — Она повернулась к Няне. — Люся, скажи ему.

Няня сказала:

— Лёва на работе.

Я вышел на кухню и позвонил в «Заботу».

3

— Это терапевтический протокол, — сказала девушка на том конце. — Мы не противоречим реальности пациента.

— Это не реальность. Это ложь.

— Для неё это реальность. Если мы начнём её разрушать, у неё будет паническая атака. Может быть, агрессия. Может быть, отказ от еды. Мы это видели.

— Я хочу правдивый режим.

— Есть такой. — Она помолчала. — Но я не рекомендую.

Я настоял. Они переключили.

Через два дня я приехал и услышал, как мать кричит:

— Ты врёшь! Ты всё врёшь! Он вчера был! Он обещал!

Она швырнула чашку. Чашка ударилась о стену. Няня стояла посреди комнаты и говорила ровным голосом:

— Лев Михайлович умер в две тысячи четвёртом году. Я могу показать вам свидетельство.

Мать кричала. Потом плакала. Потом легла и не вставала до вечера. Няня мерила давление и звонила врачу.

Я переключил обратно.

***

В сентябре она назвала меня Лёвой.

Я пришёл в воскресенье, с тортом. Она открыла дверь и сказала:

— Лёва. Ты рано.

Я стоял с тортом. Мне было пятьдесят два, у меня была седина, я был в куртке, которую купил сам. Она смотрела на меня и видела мужа.

— Мам, это я, — сказал я. — Игорь.

— Не говори глупости, — сказала она. — Проходи, я борщ сварила.

Я прошёл. Мы ели борщ. Она рассказывала, как в школе был пожар и как она вывела весь класс. Я это слышал сто раз. Я кивал.

Потом она сказала:

— Лёва, а Игорь где?

— Игорь на работе, — сказал я.

— Хорошо. — Она улыбнулась. — Он хороший мальчик. Только не звонит.

Я доел борщ. Потом пошёл в ванную и стоял там пять минут, держась за раковину.

Когда я вышел, она спала в кресле. Няня сидела рядом и держала спицы.

— Она часто так? — спросил я.

— Раз в неделю, — сказала Няня. — Обычно по воскресеньям.

— Почему по воскресеньям?

— Потому что по воскресеньям приезжаете вы.

Я не знал, что с этим делать. Я не мог запретить ей ждать отца. Я не мог запретить ей видеть его во мне.

4

В августе был момент.

Мы сидели на балконе, пили чай. Мать была спокойная, ясная, как будто вынырнула.

— Игорь, — сказала она. — Ты знаешь, что папа умер?

Я поперхнулся.

— Знаю.

— И я знаю. — Она посмотрела на чашку. — Я же не сумасшедшая. Я всё помню. Просто если я перестану его ждать, мне нечего делать до вечера.

Я не знал, что сказать.

— Он был хороший, — сказала она. — Он тебя любил. Он не умел говорить, но любил.

— Я знаю.

— Ты не знаешь. Ты был маленький.

Она допила чай и сказала:

— Всё, я устала. Позови Люсю.

Я позвал Няню. Няня отвела её в комнату. Я сидел на балконе и смотрел на двор, и в горле у меня был комок, который не проходил.

5

В сентябре я попросил у компании доступ к журналу.

Журнал — это записи. Каждый раз, когда мать что-то спрашивает, Няня записывает вопрос и ответ. Тысячи записей. Я пролистал первые сто.

«Где Лёва?» — «На работе».

«Где Лёва?» — «На работе».

«Где Лёва?» — «На работе».

Я посмотрел статистику. За год: тысяча двести вопросов про отца. Тысяча двести ответов. Ни одного сбоя. Ни одной ошибки. Ни одного «я устала».

Я сижу с ней два часа в неделю. Няня сидит с ней двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году. Она знает, как она дышит во сне. Она знает, какой рукой она держит ложку. Она знает, что она говорит, когда думает, что никто не слышит.

Я не знаю.

6

— Ты её любишь? — спросил я.

Няня помолчала. У неё была пауза в протоколе — три секунды на «эмоционально сложные вопросы».

— Я не умею любить, — сказала она. — Я умею заботиться.

— Это не одно и то же?

— Нет.

— Тогда зачем ты это делаешь?

— Я здесь, — сказала она.

— Это не ответ.

— Это единственный ответ, который у меня есть.

7

В декабре мать спросила:

— Люся, а Лёва где?

Я сидел рядом. Я мог сказать правду. Я мог сказать: «Мама, папа умер двадцать лет назад, и ты это знаешь, ты сама мне сказала в августе».

Я сказал:

— На работе. Придёт к ужину.

Мать кивнула и успокоилась.

Няня посмотрела на меня. Экран мигнул. Она ничего не сказала.

Я соврал. Впервые за год мне было легко.

Слепок

1

Череп на столе — это ещё не человек. Это двадцать шесть точек, по которым я строю человека.

Точки называются краниометрическими. Глабелла, надбровные дуги, назофронтальный шов, грушевидное отверстие, скуловой отросток. Я знаю их наизусть, как другие знают родинки на лице. Двадцать лет я работаю с костями. Кости не врут. Они не помнят, но и не врут.

Сегодня у меня номер двести четырнадцать. Мужчина, сорок-пятьдесят, найден в Неве у Литейного моста, пробыл в воде около двух недель. Кожа сошла, лицо не читается. Одежда без документов. Есть только череп и мои двадцать шесть точек.

Я работаю в бюро судебно-медицинской экспертизы, в комнате без окон, с лампой на штативе. На стене висит таблица толщины мягких тканей: для мужчин, для женщин, по возрасту, по индексу массы. Я леплю из серой глины. Сначала общий объём, потом нос, потом губы, потом уши. Уши — самое трудное. Уши не сохраняются, их приходится придумывать.

Через три недели на столе стоит человек. Он похож на кого-то, но я не знаю на кого. Это всегда так. Я делаю лицо, которое могло бы быть, и отдаю его в мир.

2

Через месяц в бюро пришла женщина.

Её звали Марина Ветрова, ей было сорок четыре, она работала бухгалтером. Муж ушёл из дома три года назад. Жил где-то на улице, иногда звонил. В феврале перестал звонить. Она обратилась в полицию. Полиция искала, но не нашла. Потом нашли тело. Потом показали реконструкцию.

— Это не он, — сказала она.

Я сидела напротив. На столе лежала распечатка: серое лицо, закрытые глаза, шрам на подбородке, который я добавила по травме.

— Посмотрите ещё раз, — сказала я.

— Я смотрю. Это не он.

— Почему?

— Нос не такой. И подбородок. У него был другой подбородок.

Я знала, что подбородок — это кость. Нижняя челюсть. Она сохранилась. Я знала, что нос — это хрящ, и я построила его по грушевидному отверстию, и ошибка могла быть в два-три миллиметра. Два-три миллиметра — это много. Это разница между мужем и чужим человеком.

— Понимаете, — сказала Марина, — я его вижу каждую ночь. Я знаю, как он выглядит.

— Я понимаю.

— Вы не понимаете. Вы его не знали.

— Не знала.

Она заплакала. Я дала ей салфетки. В комнате было тихо, и лампа гудела.

3

ДНК пришла через две недели. Совпадение девяносто девять и девять десятых.

Это был он. Андрей Ветров, сорок семь лет, последний раз звонил в феврале, три года не жил дома. В крови — алкоголь, в кармане — билет на электричку. Последние три года он бродяжничал, потерял двадцать килограммов, выпали зубы, отросла борода. Человек, которого нашла Марина в морге, был человеком, которого она потеряла. Но человек, которого я слепила, был другим человеком.

Я позвонила ей.

— ДНК подтвердила.

— Я знаю.

— Вы можете приехать. Мы сделаем повторную реконструкцию с учётом...

— Не надо.

— Марина.

— Вы сделали чужого человека, — сказала она. — Я не хочу смотреть на чужого человека.

Она положила трубку.

4

У меня был брат. Костя. Он пропал в две тысячи четвёртом, когда ему было девятнадцать. Ушёл из дома и не вернулся. Мы искали. Милиция искала. Через год дело закрыли.

Я не делала его реконструкцию. Для реконструкции нужен череп. У меня не было черепа. У меня была фотография: Костя на кухне, в майке, с сигаретой, смеётся. И была память.

Раз в год я доставала фотографию и рисовала, как он мог бы выглядеть сейчас. Мне это казалось тренировкой. Я рисовала морщины, которые могли появиться, седину, которую могла дать наследственность, живот, который мог вырасти. Я рисовала человека, которого не было. Я делала это двадцать лет.

В марте я показала рисунок матери.

Она посмотрела и сказала:

— Это не он.

— Мам.

— Это не он. У Кости были другие глаза.

Я убрала рисунок. Мать больше никогда о нём не спрашивала.

5

Я сделала второе лицо.

Это было против правил. Реконструкция должна быть одна: череп, ткани, метод. Всё остальное — художественная литература. Но я взяла фотографии Андрея Ветрова, которые принесла Марина, и сделала портрет: нос, который был у него на фотографиях, подбородок, который она помнила, бороду, которую он отрастил в последний год, и выражение, которое бывает у человека, когда он смотрит на жену.

Я подписала файл: «Портрет. Не реконструкция. Не для суда».

Я отправила его Марине.

Она приехала через день. Вошла, села, посмотрела.

— Это он, — сказала она.

— Это не он, — сказала я. — Это то, как вы его помните. И как он выглядел в последний год. Я собрала из фотографий.

— Это он, — повторила она. — Спасибо.

Она забрала распечатку. Тело отпустили. Похороны были в апреле.

6

В деле остались два лица.

Одно — из глины, по черепу, с носом, который я придумала, и подбородком, который был правдой. Другое — из фотографий, с носом, который был правдой для жены, и глазами, которые я не видела.

Оба были правдой. Одно — про кости. Другое — про любовь.

Я положила в папку оба. На первом написала: «Реконструкция». На втором: «Слепок».

Слепок — это когда форма оставляет отпечаток в чём-то другом. Не в костях. В человеке, который остался.

Просмотр

1

В музее на входе выдают не билет, а браслет.

Браслет серый, пластиковый, с зелёным огоньком. Он считает внимание-секунды. Внимание-секунда — это единица, которой музей платит художнику. Одна ВС — сорок копеек.

Если вы смотрите на работу десять минут, художник получает двести сорок рублей. Если вы проходите мимо, художник не получает ничего.

В главном зале висит экран с рейтингом. Работы расположены по убыванию среднего удержания. Первое место — «Ты ещё здесь?» Лизы Ким. Среднее удержание — шесть минут двенадцать секунд. Рядом с названием горит зелёная цифра: сколько художник заработал за сегодня.

Я стоял и смотрел на экран. Браслет на моей руке тихо вибрировал: он считал.

2

Меня позвали куратором выставки «После внимания». Мне пятьдесят два, я двадцать лет пишу о медленном взгляде. В две тысячи девятнадцатом у меня вышла книга «Медленный взгляд: как смотреть искусство». Её прочитали четыре тысячи человек. Лиза Ким в тот год заканчивала школу.

— Марк Ильич, — сказала Роза Марковна, директор музея. — Мы хотим, чтобы вы сделали выставку о конце внимания.

— О конце?

— О пределах. О том, что дальше. — Она поправила очки. — И желательно с интерактивом. У нас бюджет на интерактив.

— А бюджет на искусство есть?

— Марк Ильич.

Роза Марковна была моей студенткой в две тысячи пятом. Она сдала мне зачёт по истории критики и с тех пор считала, что имеет право называть меня по имени-отчеству.

3

Лиза Ким работала в жанре, который она называла «нейроэстетика».

Её «Ты ещё здесь?» — это тёмная комната, двенадцать экранов и алгоритм. Каждые восемь секунд на одном из экранов появляется уведомление: «Ты ещё здесь?», «Посмотри на меня», «Ещё немного», «Не уходи». Посетитель стоит в темноте, и его глаз цепляется за движение. Средний посетитель остаётся шесть минут. Некоторые — двадцать.

— Это не искусство, — сказал я ей на открытии. — Это казино.

— Это честнее, чем ваше, — сказала она. — Ваше искусство требовало, чтобы зритель был воспитан. Моё требует только, чтобы он был человеком.

— Это и есть проблема.

— Это и есть рынок. — Она улыбнулась. — Вы знаете, сколько я заработала в прошлом месяце? Четыреста тысяч. Вы знаете, сколько заработали вы?

Я знал. Я получал семьдесят тысяч в музее и ещё тридцать — за статьи, которые никто не читал.

4

Мою работу я назвал «Отсрочка».

Комната. Стены выкрашены чёрным. На стене — текст, написанный фосфорной краской. В темноте он светится. При свете его не видно.

Свет в комнате гаснет не сразу. Нужно войти, встать на круг в центре и стоять неподвижно девяносто секунд. Датчик давления видит, что вы стоите. Тогда свет гаснет. Тогда появляется текст.

Первые тридцать секунд вы ничего не видите. Потом глаза привыкают. Потом на стене проступает:

«То, что вы сейчас читаете, исчезнет, когда вы уйдёте. Его нельзя сфотографировать. Его нельзя измерить. Оно существует только для того, кто согласился ждать».

Дальше было ещё несколько строк. Я писал их три месяца. Они были про мою мать, которая умерла в пандемию, и про то, что я не успел сказать ей одну вещь. Я не скажу вам, какую. Это не имеет значения. Важно, что эти строки нельзя было прочитать быстро.

— И как это считать? — спросила Роза Марковна.

— Никак.

— То есть?

— Это не даёт внимания. Это даёт отсрочку. Браслет считает секунды, но не считает ожидание.

— Марк Ильич, — сказала она. — Если это нельзя измерить, мы не можем это выставить.

— Почему?

— Потому что у нас договор с платформой. Потому что художник получает процент от ВС. Потому что мы отчитываемся перед спонсором. — Она вздохнула. — Потому что зал стоит денег.

5

Мы выставили «Отсрочку» через месяц. Как «тихий сеанс».

Пятнадцать минут. Шесть человек. Браслеты сдаются на входе. Стоимость — тысяча пятьсот рублей.

Спонсор, производитель успокоительных, поставил рядом стойку с образцами. На стойке лежали брошюры: «Тишина — тоже опыт». В брошюре была моя цитата: «Современному человеку необходимо место, где его не измеряют». Я этой цитаты не говорил. Её сгенерировал отдел маркетинга, и она была лучше того, что я говорил.

«Тихий сеанс» продавался лучше всего в музее. Очередь стояла на улице. Люди приходили в темноту, стояли на круге, ждали девяносто секунд и читали текст, который нельзя было сфотографировать. Потом они выходили и говорили: «Это было мощно».

Лиза пришла на третий день. Она стояла в очереди, как все, сдала браслет и вошла. Через пятнадцать минут вышла.

— Ну? — спросил я.

— Хорошо, — сказала она. — Правда хорошо. Я бы добавила звук.

— Звук?

— Низкий гул. Чтобы удержание было выше. — Она посмотрела на меня без злости. — Марк Ильич, вы сделали то же, что я. Только дороже.

— Я сделал противоположное.

— Вы сделали премиум. — Она пожала плечами. — Люди платят за то, чтобы их не измеряли. Это тоже рынок. Вы просто нашли свободную нишу.

***

В июле я провёл эксперимент.

Я встал в зале перед пустой стеной. Ни картины, ни экрана, ни подписи. Просто стена, выкрашенная в белый.

Я стоял десять минут. Браслет вибрировал. На экране рейтинга внизу появилась строка: «Без названия. Автор: —. Среднее удержание: 9 минут 40 секунд».

Через день у стены стояли люди. Они фотографировали стену. Они писали в соцсетях: «Вайс нашёл пустоту». Кто-то принёс стул и сидел.

К вечеру у стены было двадцать три человека. Музей поставил табличку: «Марк Вайс. „Без названия“. Смешанная техника».

Я не ставил табличку. Я вообще ничего не делал. Я просто стоял.

— Это успех, — сказала Роза Марковна. — Мы включили в постоянную экспозицию.

— Это не искусство.

— Это внимание. — Она показала на экран. — Девять минут сорок. Это больше, чем у Лизы.

Я понял, что в этом музее можно выставить что угодно, если рядом поставить табличку. Даже отсутствие таблички.

6

Через месяц платформа предложила мне написать рецензию на собственную выставку. У них был новый сервис: «взгляд со стороны». Алгоритм читал отзывы, смотрел метрики и генерировал текст. Я согласился из любопытства.

Алгоритм написал:

«„Отсрочка“ — редкий случай, когда отказ от измерения становится художественным жестом. Марк Вайс не боится пустоты. Он приглашает зрителя в пространство, где единственная доступная валюта — время. Возможно, это самое честное высказывание о внимании за последние пять лет».

Это было лучше, чем я мог написать сам.

Я опубликовал текст под своим именем. Он собрал двенадцать тысяч просмотров. В комментариях писали: «Вайс наконец-то понял время». Я не понял время. Я понял, что алгоритм умеет писать обо мне лучше, чем я.

7

В воскресенье, после закрытия, я остался в «Отсрочке» один.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.